

Владимир Сорокин  
*Ледяная*  
трилогия



Владимир Сорокин

# Ледяная трилогия

Путь Бро

Лед

23 000

*Романы*



Издательство аст

Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С65

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

**Сорокин, Владимир**  
С65 Ледяная трилогия / Владимир Сорокин. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2018. — 800 с.

ISBN 978-5-17-091622-1

Романы "Путь Бро", "Лед" и "23 000", написанные в первой половине 2000-х, соединены динамичным сюжетом и в полной мере демонстрируют фирменные черты сорокинской прозы — карнавальность, овеществление метафоры, деконструкцию жанра. Но одновременно писатель всерьез размышляет о природе идеи избранности и ее обреченности, об истоках трагедий XX века, о том, в чем истинная сила и слабость человека.

Мировая и российская история предстают в резкой и неожиданной авторской трактовке, не менее захватывающей, чем "ледяная" версия падения Тунгусского метеорита.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-091622-1

© Владимир Сорокин, 2010, 2018  
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018  
© ООО "Издательство АСТ", 2018  
Издательство CORPUS ©

## СОДЕРЖАНИЕ

Путь Бро

11

Лед

273

23 000

549



*Из чьего чрева выходит лед,  
и иней небесный, — кто рождает его?*

КНИГА ИОВА, 38:29

*Итак, отложим, братие, дела темные  
и станем делать дела света.*

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА



ПУТЬ БРО



## ДЕТСТВО

Я родился 30 июня 1908 года в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева. Отец к тому времени состоялся как крупнейший российский сахарозаводчик и владел двумя имениями — в Васкелово, под Санкт-Петербургом, где я родился, и в Басанцах, на Украине, где мне суждено было провести свое детство. Помимо этого у нашей семьи был небольшой, но уютный деревянный дом в Москве на Остоженке и большая квартира на Миллионной в Санкт-Петербурге.

Имение в Басанцах отец выстроил сам в “троглодитову эру сахарного дела”, когда купил две тысячи десятин плодородной украинской земли под сахарную свеклу. Он был первым русским сахарозаводчиком, решившим обзавестись собственными сахарными плантациями, а не скупать буряки по старинке у крестьян. Там же они с дедом построили сахарный завод. В имении не было большой необходимости, так как семья уже жила в столице. Но опасливый дед настоял, повторяя, что “хозяин в наше лихое время должен быть поближе к бурякам и заводу”.

Басанцы отец недолюбливал.

— Страна хохляцких мух, — часто повторял он.

— Мухи на твой сахар летят! — смеялась матушка.

Мух там и впрямь было предостаточно. Жара стояла все лето. Но зима была чудесной — мягкой и снежной.

Имение в Васкелово отец приобрел попозже, когда уже стал по-настоящему богатым человеком. Это был строгий старинный дом с колоннами и двумя флигелями. Именно в нем мне суждено было появиться на свет. Роды случились преждевременно, матушка недоносила меня две недели. По ее словам, причина тому — удивительная погода, стоявшая в тот день. Несмотря на безоблачное небо и безветрие, вдруг раздались раскаты далекого грома. Гром этот был необычный: мама не только услышала его, но и *почувствовала* плодом, то бишь мною.

— Гром тебя словно подтолкнул, — рассказывала она. — Ты родился легко и весил как доношенный ребенок.

В последующую ночь на 1 июля северная часть неба оказалась необычно и сильно подсвечена, поэтому ночи как таковой вовсе не было: вечернюю зарю сразу сменяла утренняя. Это было очень странно — белые ночи к концу июня иссякают. Матушка моя шутила:

— Небо светилось в твою честь.

Родила меня она на жестком и всегда прохладном кожаном диване в кабинете отца: схватки застали ее за “дурацким разговором о старой клумбе и новом садовнике”. Прямо напротив этого дивана во всю стену тянулись дубовые полки с сахарными головками. Каждая отливалась из сахара своего урожая и весила пуд. На каждой стоял отпечаток ее года. Массивные белые конусы из крепчайшего рафинада, вероятно, были первым, что я увидел на этом свете. Во всяком случае, они вошли в мою детскую память наравне с образами матери и отца.

Меня окрестили Александром в честь русского святого и полководца Александра Невского и в память моего прадеда Александра Саввича, зачинателя купеческо-

го дела Снегиревых. Звали меня все по-разному: отец — Александром, мама — Шурой, тетушки — Сашенькой, сестры — Шуренком, старший брат Василий — Александром, брат Ваня — Саней, гувернантка *madame Panaget* — Саша, объездчик Фрол — Ляксандром Дмитричем, конюх Гаврила — малым барином.

В семье было семеро детей: четверо сыновей и три дочери, одна из которых, Настя, была горбуньей. Еще один мальчик умер от полиомиелита в пятилетнем возрасте.

Я оказался поздним ребенком — самый взрослый из братьев, Василий, был старше меня на семнадцать лет.

Мой отец был высоким, лысоватым и мрачноватым человеком с длинными и сильными руками. В характере его переплетались энергичность, обстоятельность, мрачноватая задумчивость, грубость и властолюбие. Иногда он мне напоминал машину, которая периодически ломалась, чинила себя и снова исправно работала. Он боготворил прогресс и посылал управляющих четырех своих заводов учиться в Англию. Но сам за границу не любил, повторяя, что “у них там надо по струне ходить”. Он был совершенно не способен к языкам и по-французски знал три десятка заученных фраз. Мать рассказывала, что за границей он терялся и чувствовал себя не в своей тарелке. Отец происходил из старого купеческого рода саратовских зерноторговцев, постепенно сделавшихся фабрикантами. Большой семье Снегиревых принадлежали четыре сахарных завода, кондитерская фабрика и пароходство. В молодости отец учился в Саратовском университете на политехническом факультете, но с третьего курса ушел по непонятным причинам. И сразу впрягся в семейное дело. Раз в два месяца он впадал в мрачный запой (к счастью, не более чем на трое суток), нередко громил мебель и ругал мать последними словами, но ни разу не поднял на нее руку. Протрезвев,

просил у нее прощения, ехал в баню, потом в церковь — каяться. Но сильно верующим он не был.

Детьми же он вовсе не занимался. Мы были на попечении матушки, нянек, гувернанток и бесчисленных родственников, кишевших в обоих имениях.

Моя мать являла собой образец жертвенной русской женщины, забывшей себя ради детей и семейного благополучия. Наделенная замечательной красотой (она была наполовину осетинкой, наполовину терской казачкой), горячим сердцем и широкой душой, она отдала свою бескорыстную любовь сначала отцу, который влюбился в нее до беспамятства на Нижегородской ярмарке, потом нам, детям. К тому же мать была гостеприимна до безумия: уехать от нас случайно заглянувшему гостю было решительно невозможно.

Хоть я и рос самым младшим в семье, самым любимым я не был: отец привечал смышленного и послушного Илью, проча его в преемники, мать обожала красивого и нежного Ванюшу, любителя книг про королей и вареников с вишнями. Силач и балагур Василий у отца слыл повесой, у которого “в голове черти горох молотят”, а я — шалопаем. Три сестрицы мои характерами почти не различались: энергичные, жизнелюбивые, в меру эгоцентричные и впечатлительные, они легко и надолго впадали как в слезы, так и в хохот. Все трое яростно музицировали, и в этом горбатая Настенька преуспевала, всерьез готовясь к карьере пианистки. Разнились сестры только отношением к отцу. Старшая, Ариша, его боготворила, средняя, Василиса, боялась, Настя ненавидела.

Семья жила в четырех местах: Василий в Москве, где мучительно и бесконечно учился на адвоката, Василиса и Ариша — в Петербурге, Ваня с Ильей — в Васкелово, а мы с Настей — в Басанцах.

До девяти лет я прожил и получил воспитание в усадьбе. Помимо гувернантки-француженки, занимав-

шейся со мной иностранными языками и музыкой, у меня был домашний учитель Диденко — молодой человек с невзрачной внешностью и провинциальными манерами, тихим и вкрадчивым голосом учивший меня всему, что знал. Более всего ему нравилось рассказывать о великих завоевателях и небесных телах. Говоря о походах Ганнибала и солнечном затмении, он преображался, и в его мутных глазах появлялся блеск. К моменту поступления в гимназию я знал, чем отличается Аттила от Александра Македонского, а Юпитер от Сатурна. Хуже дело обстояло с русским языком и арифметикой.

Догимназическое детство мое было вполне счастливым. Теплая и благодатная природа Украины качала меня, как колыбель: я ловил птиц и рыбу с сыновьями управляющего, катался с отцом на английском катере по Днепру, собирал гербарий с французенкой, дурачился и музицировал с Настей, ездил на свекловичные поля и на покос с объездчиком, ходил в церковь с матушкой и тетками, учился верховой езде с конюхом, а по вечерам наблюдал в телескоп за светилами с Диденко.

В августе вся семья встречалась в Васкелово.

Южная украинская природа уступала место русскому северу, и вместо каштанов и тополей наш белый дом с колоннами обступали строгие и сумрачные ели, меж ветковыми стволами которых проблескивало озеро. Длинная каменная лестница вела к нему от дома. Сидя на ее замшелой гранитной ступени и свесив ноги над водой, я любил кидать в озеро камни, глядя, как рождается круг на воде и, стремительно расширяясь, скользит по стеклу озера, несясь к каменистым берегам.

Озеро было всегда холодным и спокойным. А наша многочисленная семья — шумной и многоголосой, как стая весенних птиц. Лишь мрачноватый и малоразговорчивый отец казался в этой стае грозным вороном. Мне было хорошо в кругу родных, который, как и круги

на воде, расширялся с каждым днем, пополняя оба имения новообретенными родственниками и родственниками этих родственников. Богатство отца, гостеприимство и сердобольность матери, домашний уют и достаток притягивали людей, как мед. Приживалы и приживалки, странствующие монахи и спивающиеся актеры, купеческие вдовы и проигравшиеся майоры гудели по гостиным и флигелям пчелиным роем. В будни, когда садились обедать, стол накрывался человек на двадцать. В дни праздников и именин в столовой северного имения сдвигались три стола, а в Басанцах столы выносили в сад, под яблони.

Отец этому не препятствовал. Наверно, он любил такой стиль жизни. Но особого восторга на его лице во время семейных пиршеств я не замечал. Хохотал и плакал он только сильно пьяный. И я никогда не слышал от отца слово “счастье”. Был ли он счастлив? Не знаю.

Матушка же безусловно была счастлива. Ее светлый дух человеколюбия и созидания парил и реял над нами. Хотя она частенько повторяла, что “счастье — это когда хлопот невпроворот и некогда задумываться”.

В этом человеческом улье я рос здоровым и счастливым.

Я, как и матушка, особенно не задумывался, спрыгивая в июльский полдень с пыльной двуколки объездчика и несясь через анфиладу прохладных комнат на звуки “Баркаролы” с букетиком земляники, собранной мной на дальних лугах и перевязанной травинкой, чтобы вручить его музицирующей Настеньке, одновременно положив на ее горб улитку или жука, что вызывало вскрик, плескание в меня недопитым молоком, битье “Временами года”, примирение и совместное поедание ягод на нагретом солнцем подоконнике.

Лишь одна странность в детстве пугала и притягивала меня.

Мне часто снился один и тот же сон: я видел себя у подножия громадной горы, такой высокой и беспредельной, что у меня *вяли* ноги. Гора была *ужасно* большая. Такая большая, что я начинал мокнуть и *хлебно крошиться*. Вершина ее уходила в синее небо. До вершины было *очень* высоко. Так высоко, что я весь гнулся и разваливался, как булка в молоке. И ничего не мог поделаться с горой. Она стояла. И ждала, когда я посмотрю на ее вершину. Это все, чего она хотела от меня. А я *никак* не мог поднять свою голову. Как я мог это сделать, если весь гнулся и крошился? Но гора *очень* хотела, чтобы я посмотрел. Я понимал, что если не посмотрю, то весь раскрошусь. И *навсегда* стану хлебной тюрей. Я брал голову руками и начинал поднимать ее. Она поднималась, поднималась, поднималась. И я смотрел, смотрел и смотрел на гору. Но все не видел, не видел и не видел вершины. Потому что она была высоко, высоко, высоко. И *страшно* убегала от меня. Я начинал рыдать сквозь зубы и задыхаться. И все поднимал и поднимал свою тяжелую голову. Вдруг спина моя переламывалась, я весь разваливался на мокрые куски и падал навзничь. И видел вершину. Она сияла СВЕТОМ. Таким, что я *исчезал* в нем. И это было так *ужасно* хорошо, что я просыпался.

Утром я подробно помнил этот сон и за завтраком пересказывал его родным. Но на них это не производило должного впечатления.

Отец со свойственной ему грубоватой прямоотой советовал “поменьше фантазировать, побольше дышать кислородом”. Мать же просто крестила меня на ночь, кропила святой водой и клала под подушку образок целителя Пантелеймона. Сестры не находили в моем сне ничего удивительного. Братья меня попросту не слушали.

В течение дня загадочная гора иногда всплывала для меня одного то тут, то там — сугробом возле крыльца, клином торта в тарелке сестры, можжевельным кустом,

подстригаемым садовником в виде пирамиды, метрономом Настеньки, горой сахарного песка на отцовском заводе, углом моей подушки.

Но к обычным горам я тем не менее был равнодушен. Показанный Диденко красивый атлас с надписью *Les plus grands fleuves et montagnes du Monde* не поразил меня узнаванием: среди Джомолунгмы, Юнгфрау и Арарата моей горы не было. Это были просто какие-то обычные горы. Мне же снилась Гора.

Постепенно мое райское детство стало давать трещины. И в них просачивалась русская жизнь. Сперва в виде слова “война”. Мне было шесть лет, когда я услышал его на террасе нашей украинской усадьбы. Мы сильно заждались отца с завода к обеду и по команде матушки принялись уже за трапезу, как вдруг прогремели дрожки и он вошел как-то медленней обычного. Серьезный, грозно торжественный, в нанковой тройке с белой шляпой и газетой в руках.

Бросил газету на стол:

— Война!

Вытащил из кармана платок, отер им крепкую длинную шею:

— Сперва австрийская сволочь, потом пруссаки. Хочется им Сербию сожрать.

Сидящие за столом мужчины повставали с мест, обступили отца и загалдели. Настя с Аришей растерянно посмотрели на мать. Она выглядела испуганной. Я же, прожевывая слишком большой кусок пирога с яйцом, уставился на газету. Она лежала рядом со мной между графином с малиновым морсом и блюдом с бужениной. Большое черное слово ВОЙНА было сложено пополам. Под ним виднелось слово поменьше — СЕРБИЯ. Оно заставило меня вспомнить серп, которым бабы жали пшеницу и гречиху на наших приусадебных полях. Пруссаками у нас звали рыжих тараканов. Представив, как они

рыжей тучей набросятся на железный СЕРП и сожрут его, к ужасу жницы, я содрогнулся и шумно выплюнул на газету непрожеванный кусок.

На меня никто не обратил внимания. Мужчины сдержанно галдели вокруг отца, стоявшего, как обычно, слишком прямо и, выставив сильный подбородок, что-то говорившего им об ультиматуме Австро-Венгрии. Женщины притихли.

Я же смотрел на непрожеванный кусок пирога, лежащий на черном слове ВОЙНА. Не знаю почему, но на всю жизнь для меня это стало символом войны.

Потом война вошла в обиход.

За завтраком вслух зачитывались вести с фронта. Имена генералов стали почти родными. Мне почему-то больше всех нравился генерал Куропаткин. Я представлял его дядькой Черномором из “Руслана и Людмилы”. Еще мне нравилось слово “контрнаступление”. Мы перебрались в Васкелово, ездили на вокзал провожать наши войска, мама и сестры шили белье для раненых, резали бинты, делали ватные тампоны, посещали лазареты и однажды снялись на фотографии вместе с государыней и ранеными. Василий, несмотря на протест отца и слезы матери, пошел вольноопределяющимся.

Вскоре после начала войны я познакомился еще с двумя верными спутниками человечества — насиланием и любовью.

Весной отец поехал в Басанцы, прихватив нас с Настей. Было Вербное воскресенье, и мы на трех дрожках с тетушками и приживалами отправились в церковь. Красивая, бело-голубая, обновленная отцом, она стояла на краю села Кочаново — соседнего с Басанцами. В церкви мне всегда было уютно и спокойно. Мне нравилось, что все крестятся, кланяются и поют. В этом было что-то загадочное. Во время службы я старался все делать как взрослые. Когда батюшка стал брызгать святой водой

на вербные ветки и капли попали мне на лицо, я не засмеялся, но стоял спокойно, как все. Однако к концу я всегда начинал скучать и не понимал, почему все это должно длиться так долго.

Когда служба кончилась, мы с толпой народа стали выходить из храма. Прямо за нами возникла толча и несколько голосов заспорили:

- Хохлы завсегда первыми лезут!
- Поприихалы москали товкаться!

Погода стояла весенняя, светило солнце, остатки снега хрустели под ногами. Отец и тетушки стали одаривать нищих, а мы с Настей сели в бричку и смотрели на площадь перед церковью. Она вся была запружена народом. Некоторые были уже пьяны. Здесь толкались селяне-хохлы и заводские, которые работали на заводе отца. Завод стоял в версте от села, а прямо за широким оврагом начинался заводской поселок, выстроенный еще моим дедушкой. Хохлы лузгали тыквенные семечки и галдели, заводские курили и пересмеивались. Вдруг в толпе кто-то вскрикнул, послышался звук оплеухи, чей-то картуз покотился, возникло оживление, и мужчины побежали к оврагу. Женщины завизжали и побежали следом. Вмиг площадь опустела, на ней остались только нищие, калеки, два урядника с большими шашками да мои родные.

— А куда это они? — спросил я Настю, которая была старше меня на четыре года.

Жуя просфорку, Настя шлепнула ладошкой по ватной спине извозчика:

- Микола, куда они побежали?

Смуглолицый хохол с вислыми усами обернулся, заулыбался:

- То, барыня, побиглы бисови диты морды быты.
- Кому? — насторожилась Настя.
- А сами соби.
- За что?